

После того как Гена убил ее, ему стало тяжело жить, вернее, не то чтобы тяжело, а как-то беспокойно. Она уже не жила, а Гена жил и собирался еще жить долго. Сам он очень боялся смерти, он знал, что когда-то это произойдет, но всячески гнал от себя эту мысль; он полагал, что ему в этом смысле повезет больше, чем другим: он будет жить долго, рано не умрет. Ничем серьезным он никогда не болел, но где бы у него ни закололо или ни заболело, он непременно подозревал рак, никак не меньше. И хотя в глубине души Гена умирать не собирался, тем не менее этак сладенько со смертью поигрывал, заигрывал с ней в пределах допустимого: то улицу перебежит в опасном месте, то заплывет далеко в море, но не очень далеко, в общем, рисковал, но не сильно. Другьям и знакомым он говорил, что не доживет до сорока, втайне ему мерещился заветный возраст — 37, но когда он благополучно этот возраст

перешагнул, он стал говорить о 42–43 годах, линия жизни на ладони у него именно такая, он выдумал какую-то таинственную цыганку, в юности нагадавшую ему смерть именно в этом возрасте. Ну, разумеется, если возросла продолжительность жизни вообще, то и продолжительность жизни высокоодаренных людей тоже: раньше было 37, теперь где-то 42–43. Ну и без цыганки в этом вопросе тоже было нельзя — у Пушкина была ведь кофейная гадалщица, а еще цыганка Таня, предсказавшая ему смерть от белой головы, стало быть, и у Гены должна была появиться эта цыганка. Он был очень мнительным и страстно влюбленным в себя человеком. Он любил себя так, что даже не мог в полной мере ответить себе взаимностью, это была даже не страсть, а постоянное холение и лелеяние себя, нежелание отказать себе ни в чем, он баловал себя и все себе прощал, но после того как он убил ее, наступил у Гены разлад

с собственной персоной, потерял он согласие с собой, даже как-то немного охладил к себе. И хотя он убил ее не прямо, не физически, а косвенно, беспокойство и душевный дискомфорт не оставляли его.

А дело было так. Нина вышла замуж за Валентина не по любви, наоборот, это Валентин очень любил Нину и готов был сделать для нее все, лишь бы она была спокойна и счастлива, но Нина тяжело и постоянно с детства тянулась к Гене и хотя видела, что Гена к ней равнодушен, ничего не могла с собой поделать. Гена же не любил ее не потому что ее, а потому что вообще не мог никого любить, иначе он изменил бы себе, а себя, как сказано выше, он обожал самозабвенно и нежно. Таким образом, складывалась типичная для русской классики картина: Валя любит Нину, Нина любит Гену, Гена любит себя. Но если не любишь, так и не люби, будь в стороне, но нет, Гена широко пользовался любовью Нины, он барственно позволял любить себя. Справедливости ради надо сказать, что некоторое время Гена сопротивлялся, он видел, что отношение к нему этой девушки слишком серьезно, и смутно чувствовал, что если пойдет на поводу у похоти, то это будет большой грех, он даже уговаривал Нину остыть, выйти замуж за Валю, но уговаривал как-то так, что она, бедная, совсем сгорала; он уговаривал Нину не любить себя с каким-то трагическим кокетством: выходи замуж, а я... как-нибудь один, это моя судьба, короче, так, что с бедной девочкой становилось совсем плохо, и в конце концов она вышла замуж за Валю словно по приказу Гены. Если бы он сказал, она вышла бы за дворника Мустафу из их дома, но он сказал: выйдешь замуж за Валю — будешь как за каменной стеной и, прибавил он, грустно глядя за воображаемую линию горизонта, забудешь меня...

— У меня сердце ноет, — сказала Нина. — Поцелуй меня на прощание. Хоть один раз.

— Не надо, — сказал Гена и еще раз внутренне похвалил себя за мужество и волю: ведь Нина была очень хороша собой, а Гена — нет, ни в какую, умница...

И она пошла замуж за Валю, который, казалось, ждал ее всю жизнь, она пошла за него, потому что так приказал любимый, но Валя этого не знал, а если бы и знал, вряд ли что-либо изменилось в его поведении, Валя был, что называется, из надежных людей. Но вот когда Нина оказалась Валиной женой, когда его любовь, доверие, внимание и деликатность стали залечивать душевную рану его жены, заглушать и заретушевывать ее сердечную боль, вот тогда-то Гене и стал подмигивать дьявол, вот тогда он возжелал Нину снова. Надо сказать, что ситуация довольно типична, и Гена это понимал. Понимал, что он далеко не один такой, достаточно вспомнить хотя бы Онегина, которого потянуло к Татьяне, когда она вышла замуж. Он знал это, наблюдал в

других раньше. Существует огромный класс, отряд, вид, подвид людей, ничего никому не дающих, а только берущих, причем берущих так органично и просто, как будто так и надо, как будто все остальные люди им должны. Этот класс, вид, подвид людей полагают про себя, внешне держась вроде скромно, что они облечены какой-то особой миссией, что у них в этой жизни есть некое предназначение и все остальные люди, естественно, должны им помогать. Эти люди, эти женщины и мужчины, конечно, паразиты, но большинство из них об этом знает и вовсе этого не стесняется. Знал и Гена и не делал ничего, чтобы изменить себя, он считал, что это незачем, таким создала его природа, и потом, с такой психологией жить удобно и хорошо: можно позволять ухаживать за собой и позволять другим себя беречь, можно, наконец, позволять себя любить и, как клоп, высосать любящего человека, покуда хватит аппетита, до последней его капли крови.

Гена так и поступил, как говорится, без страха и упрека. Случилось так, что Валя уехал на несколько дней по делам, и тогда Гена к ней пришел. Пришел к ней тогда, когда ей казалось, что она уже перестала его любить. Гена вначале позвонил, она сняла трубку и вдруг, после его «алло», почувствовала, что сейчас упадет. Ее выстроенный мир, ее маленькая крепость оказались сложенными из костяшек домино: чуть-чуть толкни — и все сразу посыплется. Но она еще держалась. Она, как ей казалось, непринужденно и легко спросила его: «Как дела?», он помолчал и сказал: «Нельзя ли обойтись без дежурных вопросов?», потом еще помолчал и добавил: «Я ошибся, отпустив тебя, я о тебе все время думаю, ты снишься мне, я хочу тебя обнимать, это меня мучает». Гена не стеснялся таких слов. Он знал по опыту просмотра индийского кино, что мелодрама пробьет себе дорогу к сердцу любой женщины. И Нина заплакала от облегчения и странного одновременного ощущения горя и счастья. Горя — оттого, что это рушило ее сложившуюся жизнь, а облегчения и счастья — оттого, что она тайно от всех и от себя об этом мечтала. И словно плотина прорвалась, ею владели сейчас только нежность и желание, она только и смогла, что прошелестеть в телефонную трубку: «Зайди... сейчас». Ее колотила крупная дрожь, она побежала убирать комнату. Через 15 минут пришел Гена, и все произошло мгновенно, она еще в передней раздела его и себя, они не переставали целоваться; в глазах Гены промелькнул некоторый испуг перед этим шквалом обнаженной искренности и страсти, но она не обратила на это внимания, а скоро Гена и сам отвлекся, отдавшись чисто физиологической над ним власти, инстинкту. Он вкушал абсолютно запретный плод, запретный по всем категориям морали, внушаемой с детства; он делал это тайно, от этого было еще слаще, и, самое

главное, он чувствовал, что имеет над ней неограниченную, полную власть, что она будет делать все, что он ни попросит, и сейчас, в постели, и потом. И он просил. Даже не просил, а просто велел, говорил, чего он хочет, и все так и было. А потом она долго спрашивала его, что же будет дальше с ней, как он теперь распорядится своей властью, что он прикажет ей делать. А Гена постарался очень мягко объяснить, что ничего делать не нужно, что пусть все остается как и было, пусть Валя ничего не знает, а они найдут время и способ, чтобы встречаться. Она говорила «конечно», а сама думала, что от Вали ей скрыть ничего не удастся: слишком Валя ее любил и слишком чувствовал в ней малейшую перемену. Но ее любимый, ее хозяин сказал, что будет так, и так было. Так было два месяца, пока острота и пикантность Гениного воровства у него самого не притупилась, пока ему не осточертело вечное выражение собачьей преданности в ее глазах. Они стали встречаться реже и реже, она плакала и говорила, что если он ее оставит, она жить не будет. Гена не придавал ее словам значения, считая это обычной дамской истерикой. Более всего его раздражала банальность ситуации, банальность этого обрыдлого треугольника, миллион раз встречавшегося в жизни, в кино, в литературе. Все происходило по дурацкой схеме: она изменяла мужу, затем любовник охладевал к ней, затем она травилась или бросалась под поезд. «Но не то же время, — думал Гена, — сейчас все стало настолько проще и циничнее, настолько обмелели и сузились, так сказать, реки страстей человеческих, настолько каждый зациклен на себе (Гена всех мерил со своей точки зрения), что никто с собой не кончает, поплачут, напишут прощальные стихи и живут дальше, любят других, а это все, что казалось в свое время архиважным, становится со временем даже смешным и занятым: мол, со мной ли это было?..» Так что вовсе незачем включать сюда Анну Каренину...

И вот наступил момент, когда Гена порвал постылую связь совсем и не появлялся целых полгода. Через эти полгода, осенью, теперь-то он намертво помнил число, 1 ноября, он сильно напился и позвонил, решив, что если трубку снимет Валя, он просто не будет говорить. Но трубку сняла она, а Валя был на работе, и он, страшно рискуя, но плюя на это дело, так как был пьян, снова пришел к ней с бутылкой коньяка, а когда еще немного выпил, опять взял то, что хотел, хотя Нина была уже в его руках не любящей испуганной женщиной, а безвольной, постоянно плачущей и покорной: если тебе очень надо — на. Гена тут же ушел, захватив оставшийся коньяк — все-таки улика, — и у дверей, не оборачиваясь, сказал: «И так будет всю твою жизнь, поняла?» — и ушел. А наутро Валя пришел с работы и застал жену отравившейся снотворным, смерть наступила, как сказал

потом, в 4 часа утра, и ни записки, ни объяснения случившемуся не было. Гена узнал об этом от Вали, который позвонил ему, чтобы он, если сможет, пришел на похороны. И Гена пришел, и уронил слезу над гробом, а когда отходил, поймал на себе слишком пристальный взгляд Нининой подруги Веры. Вера смотрела на него с брезгливым испугом, как на подползающего гада. Гена обеспокоился, но быстро утешил себя: ведь никто ничего доказать не может, их встречи с Ниной происходили с глаза на глаз, и никогда его не видели даже соседи, уж об этом-то он позаботился, а еще он сказал Нине, чтобы ни одна душа о нем не знала, и он был уверен, что Нина не слушается. Ну а сейчас, если она Вере что-то и сболтнула, то это ее сумасшедшие фантазии, все знают, что раньше она любила Гену и вот создала себе иллюзорный мир их встреч, что привело потом к психическому расстройству и трагическому концу, Гена тут ни при чем, все знают, что он даже уговаривал ее выйти за Валю.

И потом, когда они собрались на поминки, и позже, когда они с Валей остались вдвоем и вспоминали и молчали, он чувствовал, что его начала незаметно засасывать и остро тревожить эта странная игра: он знал, а Валя — нет, и Валя относился к нему как к ближайшему другу, и выплескивал перед ним свою боль, свою душу, и говорил, что всегда знал о ее чувстве к Гене, но Гену за это не винил, а только ей всегда старался принести покой и радость. И Гена чувствовал странную и болезненную тягу к Вале. И потом, спустя какое-то время, это гипнотическое любопытство, этот ирреальный интерес не прошел, а еще более усилился. Как Раскольников возвращался к месту преступления, так и Гена искал постоянно контактов с Валей: не было недели, чтобы они не встречались, и эта кошмарная дружба становилась все теснее. Причем для Вали все было совершенно естественно, а у Гены, особенно в последнее время, было такое чувство, что он гуляет на грани сумасшествия, что все это должно совершить поворот и разрешиться каким-то событием, иначе он и вправду может свихнуться.

И вот, ровно через год после этих событий, 1 ноября Гена спускался в подвал, где работал Валя, с тем, чтобы предложить ему отметить годовщину со дня смерти Нины. Гена уже бывал несколько раз в этом подвале и каждый раз спускался туда с неприятным ощущением, что это когда-то уже было, то ли в какой-то другой жизни, то ли во сне (то, что называется дежавю). Ступени подвала были стершимися, в центре каждой ступени была впадина, настолько давно по ним ходили вверх и вниз, лестница была крутой и очень узкой, а стена справа — из красного облупившегося кирпича. За стеной приходилось каждый раз хвататься, так как лестница

была очень крутой, а ступени скользкими. Гена дошел до почти до конца лестницы в таком мешке, как вдруг из подвала появился прямо перед Геней Валя — напарник, Гена не помнил, как зовут его, и быстрой презрительной скороговоркой сообщил Гене, что Валя знает все. «Что все?» — спросил Гена посеревшими губами, хотя заранее уже знал ответ.

— Да все, — сказал тот, — отчего его жена умерла, ему кто-то рассказал, и не надо перед ним ломать комедию, не стоит, потому что время дорого, и я сейчас все это тебе сообщаю не из-за твоих красивых глаз, а потому что боюсь за Валю: ведь он тебя сейчас ищет, а найдет — убьет, а убьет — сядет в тюрьму. Поэтому шанс бежать у тебя есть только сегодня, и немедленно.

Если сегодня Валя на него наткнется, то кончит немедленно, завтра у него, может, еще что-то притупится, уйдет, может, он обратится в суд, а там неизвестно, что и как повернется, — где доказательства? — но сегодня, сегодня надо бежать и прятаться, сегодня непременно убьет и надо уходить отсюда как можно скорее.

С этими словами он развернул одеревеневшее туловище Гены обратно к выходу и слегка подтолкнул. Гена остался на месте, ноги не двигались.

«Беги, гад!» — хлестнул сзади фальцетный вскрик, словно будя его. И Гена медленно и странно, как в рапидной съемке, побежал вверх на ватных ногах. Он выбежал на улицу и несколько секунд метался из стороны в сторону, не зная, влево или вправо ему кинуться. Почему-то ему пришла в голову мысль побежать домой и переодеться во что-нибудь странное, чтобы его узнали не сразу, но потом он сообразил, что Валя может ждать его возле дома, и бросился в обратную сторону.

Ноги по-прежнему были будто ватными, и он бежал в каком-то безнадежном паралистическом оцепенении, как в кошмарном сне, в котором знаешь, что все равно догонят, однако надо бежать, надо переставлять эти непослушные ноги, преодолевать эту мерзкую слабость в паху, и Гена в своем беспредельном ужасе продолжал свой панический бег. Он обогнул дом и вбежал во двор, в котором был второй вход в продовольственный магазин и в котором работали грузчики. Возле рабочего входа никого не было, а на пустых ящиках из-под бутылок лежал брошенный кем-то старый синий рабочий халат, а на нем — берет. Не раздумывая, Гена подхватил на бегу эту спасительную, как ему казалось, камуфляжную форму и побежал дальше, в подъезд, который, как он знал, выходил на другую улицу. Не теряя темпа, в подъезде, Гена напялил на себя сверху синий халат и натянул берет пониже. При выходе на улицу он крайне осторожно выглянул налево, потом направо, быстро пересек улицу и побежал по переулку. Гена подумал, что первая фаза побега ему удалась, что удалось, по

крайней мере, если не отметить, то отсрочить неминуемую расправу, и теперь необходимо решить, куда бежать дальше, надо ведь не бесцельно бежать куда-то, а так, чтобы не нашли. Он уловил боковым зрением, что шагах в двадцати из-за дома появилась какая-то фигура, и бросился в сторону, в соседний двор. Сердце провалилось куда-то в живот, и Гена заметался между домами в беспорядочном движении. Ни в голове его, ни в душе больше не было ничего, кроме предсмертного заячьего крика. Он испытывал только одно чисто биологическое ощущение преследуемой дичи, когда на карте жизнь и спасти могут только ноги. Через полминуты судорожных и нелепых рывков из стороны в сторону человеческое вернулось к нему, и он вспомнил, что очертания той возникшей сбоку фигуры ничего общего с Валею не имели, и осознал к тому же, что его никто не преследует. Он в бессилии опустил на корточки у стены дома и попытался привести мысли в порядок, найти какое-то решение, определить, куда двигаться дальше.

Неярко светило ласковое осеннее солнце; было бабье лето, последняя перед зимой мудрая улыбка природы, предназначавшаяся кому угодно из людей, только не Гене, который со своей панической суетой в душе никак не вписывался в теплый и свежий осенний покой этого двора. Надо было бежать, но куда? Куда бы он ни пошел, Валя может оказаться там, предугадать, вычислить его будущее движение. Надо было поступить парадоксально: побежать в совсем неожиданное место, какое Валею и в голову не могло бы прийти. Ясно, что сейчас надо сесть на первый попавшийся троллейбус, автобус и выехать из этого района, а там посмотрим. Может быть, добраться до вокзала, аэропорта... Но нет! С собой ведь нет денег, да и там вполне может ждать Валя или кто-то из его знакомых. Лучше предположить, что на него уже началась облава.

Тщательно осмотревшись, Гена двинулся через двор к переулку, ведущему к троллейбусной остановке, пробежал переулком метров тридцать и, оказавшись у остановки, юркнул в подъезд рядом. Он собирался выскочить из него в последний момент, перед самым отходом троллейбуса, а до этого следить, кто стоит на остановке и кто подходит. Троллейбуса долго, как казалось Гене, не было, и он впервые в жизни пожалел, что не курит, может быть, это его успокоило бы хоть немного. Когда троллейбус подошел и принял в себя последнего пассажира, Гена рванулся из подъезда и вскочил в среднюю дверь. Цепко выхватывая из скопления пассажиров отдельные лица, он стал рыться в карманах в поисках денег за проезд, но вдруг ему пришло в голову, что не надо платить: если водитель потребует, Гена затеет скандал и попадет в милицию, а там отсидится хоть несколько часов, а если повезет, его

посадят на сколько-то суток за хулиганство... Водитель не обращался, пассажиры тоже, некому было нахамить уже несколько остановок, и Гена чувствовал нарастающее беспокойство: случайность, один шанс из тысячи, но все же Валя или кто-то из его друзей мог войти сюда и увидеть его.

Он стал чувствовать себя опасно запертым в замкнутом пространстве, ощущал снова физическую потребность куда-то бежать. Ему стало казаться, что его вот-вот схватят, и он еле сдерживался, чтобы не закричать и не броситься к выходу, расталкивая всех. Опираясь на ускользающие остатки здравого смысла, он почти спокойно спросил стоявшего перед ним мужчину, выходит ли он на следующей. Тот обернулся, и Гене показалось, что слишком пристально на него посмотрел, когда ответил, что выходит. Ему почему-то казалось важным не вступать даже в мимолетный контакт ни с кем, сохранять полное одиночество среди людей, чтобы его никто не задевал и не трогал, ведь каждый мог оказаться потенциальным врагом.

Гена выскочил из троллейбуса, побежал вперед и тут же свернул в большой тенистый переулочек, сплошь усаженный деревьями. Он поймал себя на том, что движется между деревьями короткими перебежками, несколько секунд задерживаясь у каждого ствола, как будто в него прицельно стреляли и пока не попадали.

Он слегка усмехнулся про себя, подивившись тому, что еще способен на самоиронию, и вдруг увидел, что он совсем недалеко уехал, улица была знакома, здесь было даже кафе-мороженое, в котором можно было выпить коньяку и в котором он не раз бывал. Гена подумал, что ему сейчас необходимо выпить, потому что он почти не владеет собой, и побежал через улицу в кафе. Там народу было совсем немного, хотя Гена еще из-за двери в зал тщательно осмотрел немногочисленных посетителей за столиками и за стойкой бара. Он протянул барменше купюру и попросил 150 граммов коньяку.

— В спецодежде не обслуживаем, — услышал он и вспомнил, в чем сейчас одет.

«Тьфу, глупость!» — подумал Гена и противно-искательно, как мы часто делаем, общаясь с нашей сферой обслуживания, улыбнулся и тихо добавил:

— Сдачу оставьте себе.

— Какая сдача! — громко сказала «сфера обслуживания». — Засунь эту тыщу себе знаешь куда?

Очень громко она это сказала, и немногие посетители обернулись в их сторону. Гена схватил с тарелочки свои деньги и быстро пошел к выходу, а вспотевшей спиной своей чувствовал все презрение барменши Клавды, которая его даже не узнала, а ведь он в свое время оставил здесь уйму средств и лично ей на чай тоже. А Валя, между прочим, в прошлом году купил

ящик шампанского ей и остальным работникам этого кафе в день рождения Гены. Они тогда начали праздновать еще утром, а вечером оказались в этом кафе, проводив гостей и не торопясь расходиться. Они тогда здорово догуляли здесь вдвоем, а потом принялись всех угощать. У Гены уже денег не было, но были у Вали, и тогда с понтом заказали ящик шампанского.

«О господи! — Пот на спине Гены стал холодным липким. — Ведь Валя тоже сюда заходит!» И слишком хорошо знает «друга», так что легко может предугадать его появление здесь.

— Боже мой! — опять обратился Гена не по адресу к тому, к кому звать сейчас уж ему-то не следовало.

Хоть какие-то остатки стыда в нем должны были сохраниться! Но нет! Он порядочно давно и без сожаления расстался со стыдом, а в данный момент тем более не вспоминал о нем. Им владело одно только чувство самосохранения. И оно трусливо вопило: «Спаси, Господи! Я ведь здесь на волосок от гибели!»

Это нестерпимо заячье чувство вновь всколыхнулось в Гене и мутной волной затопило его разом ослабевшее существо. Опять все в нем заметалось и забилось, опять он побежал, едва выйдя из дверей кафе. Он уже бежал вне всякой логики, куда несли его ноги, бессмысленно петляя по переулкам, потом по улице и снова в переулочек, перебегал следующую улицу на красный свет светофора, едва не попадая под машину, возвращался назад и снова бежал — в какой-то двор, какой-то тупик, где его охватывал новый ужас оттого, что это — тупик, потом — назад, и снова по улице, снова по проходным дворам, в переулочки, когда силы были на исходе, сердце уже стучало в горле, выпученные глаза лезли из орбит, а прохожие обращались, думая про него, скорее всего, что, может, этот человек что-то украл и спасается бегством, и Гена стал замечать эти взгляды и тогда отчаянным усилием воли заставил себя перейти на шаг. Задыхаясь, он прошел несколько метров и вдруг увидел справа вывеску «Кафе-мороженое». Гена осознал, что прибежал туда же, откуда побежал пятнадцать минут назад. Он вывел от унижения и бессилия. Ужас на время отступил, уступив место злости на самого себя — за свой истеричный страх и бестолковый бег. И еще почувствовал всю нелепость своего маскарада, зашел во двор и брезгливо сбросил с себя халат и берет, затем зашел в ближайший открытый подъезд и поднялся в лифте на последний этаж, чтобы чуть успокоиться и отдышаться. Здесь он стоял минут десять, чутко вслушиваясь в работу лифта и неясные голоса внизу, потом спустился, зло и быстро обошел дом, вошел в кафе и потребовал у барменши коньяк. Та не успела открыть рот, как Гена решительно потребовал:

— Я уже не спецодежде и не на работе! Быстро налей 150 коньяка!

Барменша машинально достала бутылку, стаканчик с делениями и стала лить, глядя больше на Гену, чем на деления, в ее глазах появилось узнавание. Требуемая доза была налита. Гена схватил стакан и стал пить, знаком показывая, чтобы Клава дала еще соку, чтобы запить. Клава достала пакет с яблочным соком и участливо спросила:

— Геннадий Сергеевич, это вы, что ли?

— А то кто же! — солидно ответил он, переводя дух и оглядываясь на зал.

— А что в халате заходили? — игриво продолжала допытываться Клава. — Или, может, на работу в наш овощной устроились?

— Нет, — непонятно пошутил Гена, — это я для конспирации.

Коньяк начал действовать, напряжение немного спало.

— Нет, серьезно, — пояснил он, — так нужно было, только ты никому не говори, ладно?

— Ладно, — сказала Клава, — странный вы какой-то сегодня... Случилось что?

— Да ничего особенного, — отмахнулся Гена, — пройдет...

И даже сейчас, в баре, за этим его «пройдет» угадывались очертания такой таинственной и страшной драмы, что сердобольная Клава обязана была догадаться о ней и немедленно пожалеть Гену, ведь некому было его сейчас пожалеть. Она и пожалела. В глазах Клавы мелькнуло сострадание, и она ласково погладила страдальца по руке. Гена и тут был верен себе.

«А что если к ней попроситься, — подумал он, — даже пожить у нее какое-то время, рассказать все...»

Но тут Клава, потенциальная жертва очередного Гениного мужского безобразия, сказала:

— А сегодня днем вас тут спрашивали. Друг ваш, помните, в прошлом году с которым вы у нас гуляли?

— Давно? — спросил Гена вдруг пересохшим ртом.

— Да порядком, — ответила Клава, — часа полтора тому назад.

— Спасибо, — заторопился он, — я пойду... Дела...

— Заходите почаще, — кокетливо предложила барменша в слабой надежде на устройство личной жизни.

— Обязательно, — ответил Гена, улыбнувшись через силу, а про себя добавил: «Если буду жив».

Он вышел на улицу. Голова сейчас работала четко, ноги слушались. Гена решил, что выйдет на параллельную улицу и пойдет в сторону от центра, затем позвонит из автомата Любе, своей старой знакомой, которая никогда не отказывала ему в мелких просьбах, попросит небольшую сумму денег, встретится с ней в услов-

ленно месте и попросит вывезти на ее машине за город или до ближайшего места, где можно будет сесть в поезд и на первое время куда-нибудь уехать. Паспорт, по счастью, с собой, и можно попытаться засесть, затаиться в гостинице любого населенного пункта. «На пару дней, а там посмотрим, — строил Гена свой незатейливый план. — Может, в голову придет и что-то поумнее».

План в целом был неплох, лишь бы Люба оказалась дома. Она была дома. Гена стоял в телефонной будке и, путаясь в словах, запинаясь и бесконечно повторяясь, пытался объяснить Любе суть дела. Он дал себе всего две минуты на разговор, так как боялся, что его кто-нибудь увидит и узнает. Он теперь всего боялся, даже своего невинного пребывания в телефонной будке: вдруг кто-то заметит, случайный прохожий, который его знает или что-нибудь еще, опасно-непредвиденное...

— Люба, ты мне очень нужна, — почему-то шепотом говорил Гена, а сам вертелся во все стороны, оглядывая улицу. Люба пыталась что-то сказать, но Гена не давал. — Я попал в беду, потом все объясню. Мне нужны деньги, хотя бы тысяч десять, и твоя машина. Можешь отвезти меня куда я скажу?

— Что случилось? Что?

— Потом, потом, — торопился он. — Сейчас нужно то, что я сказал, как можно быстрее!.. — В голосе Гены все отчетливее звучала истерическая настойчивость. — Да, да, сейчас, немедленно, я серьезно говорю, я подохнуть могу от этого всего! Прошу тебя, мне очень надо! Люба, миленькая, напрягись, это самое важное, что у меня было в жизни!

Он начал кричать. Голос его звенел в трубке, молил, выл и плакал. Почти невозможно отказать панической, полубезумной мольбе, и Люба не отказала.

— Гена, успокойся, — сказала она, — возьми себя в руки! — Она уже говорила жестко и управляла ситуацией. — Мне нужно пять минут, чтобы выйти из дома через пятнадцать минут я в сбербанке, потом к тебе. Ты где находишься?

Гена назвал улицу и уточнил, что ей надо подъехать к перекрестку, а он, как только увидит ее машину, подбежит и сядет.

— И еще, — сказала Люба, — твой друг тебя ищет, просил срочно позвонить ему, если ты случайно у меня объявисься.

— Кто? — спросил Гена, чувствуя, что волна темного ужаса вновь поднимается из глубины его существа.

— Да Валя же, Валя, — тоже торопясь ответила Люба, — ищет тебя, может, тоже по твоему делу, хочешь тебе помочь. Позвонить ему?

— Ни в коем случае! — закричал Гена так, как будто лезвие ножа входило ему в живот и поворачивалось там. — Не на-а-адо! Нет! Ты что!

В трубку прочтено и надо его заканчивать.

— Когда звонил? — перекрикивал писк Гена.

— С полчаса назад. Подъехать даже собирался...

— Не надо! Меня нет! Нет меня ни для кого, поняла?!  
Поезжай быстрее, я тебя жду!

Гена положил трубку и провел ладонью по лицу снизу вверх, смахивая пот, который уже заливал лоб, глаза и капал с носа.

«Что же делать, что же делать?» — думал Гена, быстрыми шагами удаляясь от телефона-автомата и топясь к месту встречи с Любой, как вдруг страшная мысль остановила его: ведь Валя собирался подъехать к Любе! Боже мой! Валя его действительно слишком хорошо знает и словно предугадывает все его дальнейшие шаги... Валя все время действует на ход вперед. Странно, что он не появился в кафе еще перед его приходом. Но сейчас больше таких ошибок делать нельзя. Валя ведь знает о его отношениях с Любой, знает, что он обратится к ней за помощью; знает, и что Люба ему не откажет, причем догадывается, что он не поедет к ней.

«А-а-а, черт! Он знает уже наверняка, что я знаю и о том, что он уже все ЗНАЕТ о моей роли в смерти жены и, стало быть, знает, что я бегу, как заяц, и не поеду к Любе, не подставлюсь; он и в кафе поэтому не появился, уверен был, что я буду прятаться, не буду светиться в таком месте, моя глупость меня и спасла, а теперь он наверняка знает, что я попрошу помощи, и Люба поедет ко мне, и значит, никакого труда не составит просто проследить за Любиной машиной, и поймать меня будет проще простого. И из этого всего следует, что идти сейчас на встречу с Любой нельзя...»

А куда, куда?! Любе звонить, предупредить уже нельзя, она наверняка уже выехала... Что же делать?! Что?!»

Гена снова заметался, снова страх затопил все его сознание, он снова чувствовал себя дичью, у которой нет ни единого шанса спастись; снова чувствовал, что способен думать только спинным мозгом, в котором было теперь только одно — ледяной космический ужас, командующий всем его поведением. И он снова бежал. Он несся опять по улицам и переулкам, куда-то сворачивал, не понимая, где бежит, лишь бы бежать, бежал, как слепой, как безумный; в какой-то двор, налево поворот, угол дома, вереница сараев из бордовых досок (доски бордовые, единственное, что успевает отметить Генин спинной мозг), дальше — тихий тупичок, группа ребят, сидящих на ящиках, разворот, окрик сзади: «Эй ты, спортсмен, куда спешишь?»; еще быстрее, опять из двора — по улице, по переулку, мимо больницы, мимо кондитерской фабрики, мимо, мимо, дальше, дальше...

Физически он уже был истощен, уже не мог бежать, но все равно механически переставлял ноги, размахивал руками, хватал ртом воздух, как в известной кинохронике марафонец Хуберт Пярнакиви, чей трагический пробег последних ста метров на давно прошедшей Олимпиаде часто показывали по телевизору.

Гена бежал, он убегал, он весь был сплошным бегом, только бегом и больше ничем, хотя со стороны был похож, вероятно, на умирающую, придавленную жабу ползущую к обочине из последних сил. Он бежал...

Но это должно было когда-нибудь кончиться, когда-то должна была израсходоваться последняя капля его энергии. И он упал... Бег кончился...

Через сколько секунд Гена пришел в себя, он не знал, но когда сел на тротуаре, прислонившись спиной к забору детского сада и поднял голову, то увидел прямо перед собой, через улицу, вывеску «Кафе-мороженое», все то же кафе, из которого бежал; круг замкнулся, а от дверей кафе, как ему показалось, медленно, нерезко медленно, к нему шел Валя...

И опять, будто в замедленной съемке, он подходил к сидящему на земле с раскинутыми бессильно ногами своему бывшему другу. Гена ждал. Он уже не мог куда бежать, да и страх, как ни странно, отошел куда-то на второй план, уступив место нелепому в его положении, какому-то болезненному любопытству: он словно видел самого себя и всю ситуацию со стороны и ждал, что будет. А ситуация была как в фильмах ужасов, как в кошмарном сне.

Валя подошел и встал над ним. Целую вечность, как показалось Гене, он ничего не говорил, а только смотрел сверху на него, мокрого от пота и страха, сидящего на асфальте с разбросанными ногами, которые теперь пытался подобрать под себя, но не получалось, и он ими сучил, оставляя на тротуаре темные следы от резиновых подошв.

Пауза была как в не раз виденных Геней в юности ковбойских фильмах, когда встречаются палач и жертва, но жертва, тоже бывшая некогда палачом, и поэтому первый палач теперь — вовсе не палач, а воплощение возмездия, торжества справедливости, и симпатии зрителей всегда на его стороне. И вот они после погонь, стрельбы, непопаданий друг в друга и всего прочего в конце фильма все-таки встречаются, и наступает между ними момент истины, когда все окончательно решится и один из них должен умереть. Именно сейчас.

Валя молчал, не двигался, и в глазах его не было ничего, не было даже гнева, они были пусты; он смотрел на Гену как на вещь, как на камень, лежащий на дороге, а Гена не мог оторвать глаз от его рук и завороженно ждал, когда они появятся из карманов и что начнут делать, и поэтому пропустил тот момент, ког-

да Валя заговорил, и не сразу понял смысл его слов, а когда стал понимать, перевел взгляд на Валино лицо. Он увидел мертвое лицо, на котором еле шевелились только губы.

— Иди отсюда, — вицеживались слова из этих губ, — сейчас иди, а потом я сам тебя найду, сам, понял? Где бы ты ни был, где бы ты ни прятался... Не ты ко мне приползешь, как теленок на убой, а я сам тебя найду... А ты пока живи, ходи и думай об этом... И жди... И бойся... И вспоминай, что ты сделал, и снова жди, жди все время, и я когда-нибудь приду за тобой... Или не приду, еще не знаю, но ты жди и помни... Жди и помни... Все время...

Валя медленно развернулся и пошел обратно через улицу. Вошел в кафе. Дверь за ним захлопнулась. Гена остался сидеть на тротуаре. Он так и не сумел подобрать ноги, и они, будто парализованные, валялись на асфальте двумя грязными обрубками, а между ними медленно растекалась желтая лужица. От только что пережитого ужаса его начало рвать. Он машинально старался попадать между своими расставленными ногами, но эта жалкая попытка сохранить дизайн, сидя в собственной луже, была не только неуместной, но и безуспешной: он все равно оказался через минуту забрызганным, облеваным почти до пояса. Его ноги сами ожили и дернулись от омерзения, с которым их владелец на них посмотрел.

«Надо бежать», — привычно подумал Гена, но тут же опомнился. Куда бежать? Зачем? Сейчас был, похоже, финальный забег. Но, так или иначе, надо встать

и идти, идти куда-то. Домой или еще куда, но все равно ведь — надо...

Он поднялся на дрожащих ногах, опираясь на забор детского сада, точнее, металлическую ограду, сквозь которую можно было увидеть площадку, качели, скамейки и маленькую избушку для детских игр. Однажды они с Валею поздно выпивали и допить то, что у них было с собой, было негде. И тогда они проникли на территорию именно этого детского сада, забрались именно в эту избушку и, чувствуя себя то ли партизанами, то ли хулиганами, весело выпили бутылку водки и для лакировки бутылку сухого вина. Когда было негде, они с Валею искали разные нелепые, но безопасные места, чтобы выпить, и называли этот процесс между собой «выпить на помойке».

«Смотри-ка ты, как все сегодня совпало, — угрюмо подумал Гена, глядя сквозь решетку на этот домик, — сошлось...»

— Дядя, как вы запачкались! — услышал он вдруг слева от себя из-за забора.

Дети вышли на прогулку. На него ехидно смотрела кривоногая девчонка в сползающих чулках и с розовым бантом в ярко-рыжих волосах.

— Дядя, вас, наверное, мама будет дома ругать за то, что вы так испачкались, — сказала девчонка, улыбаясь не по-детски. — Вы, наверное, большой шалун, да?

Гена пошел вдоль ограды, потом обернулся и сказал:

— Да, я... шалун. — Он с удивлением почувствовал, что плачет. — Я большой шалун...

